
АНДРЕЙ УБОГИЙ

САМА РОССИЯ

I

Чем дольше живешь, тем дороже писатели, на книгах которых редко останавливается взгляд молодого – порой ослепленного собственной молодостью – человека.

Кого мы читали в студенческой юности? Читали Ремарка, увлеченные мелодраматическими сюжетами его романов – а многословность, и риторичность, и искусственность многих его страниц мы легко извиняли: юность сама не чужда рисовке, риторике и мелодрамам. Читали “Сто лет одиночества” Маркеса, околдованные могучим напором, той смесью фантастики и реализма, с приправой латиноамериканской экзотики – пораженные тем самобытным и ярким, чем полон великий роман. Читали “Мастера и Маргариту”: пестрота булгаковского карнавала пьянила нас и звала за собой, прочь из будничной жизни.

Перечень авторов, так любимых и нами, тогда молодыми, и всею страной на излете застойной эпохи, можно продолжить – но, в основном, это будут писатели, так сказать, громкоговоросые, покорявшие необычностью формы или сюжетной яркостью. Голос же тихий, спокойный и говоривший о хорошо всем знакомых вещах нам казался зануден и скучен.

Но взгляд с годами меняется, и становится важным другое. Все чаще берешь в руки книги писателей, чей неспешно-раздумчивый голос уже не будоражит и не оглушает – а звучит, как голос надежного и умудренного собеседника. Все чаще читаешь Аксакова или Пришвина, Шергина или Соколова-Микитова – созная, что именно эти простые, спокойные тексты и есть настоящая пища души.

Валентин Григорьевич Распутин, высокий авторитет в отношении как художественном, так и нравственном, рассуждая о том, какая литература могла бы помочь нам, русским, выжить в нынешние смутные времена, – Распутин как-то сказал: “Нам нужна тишайшая литература...”

На первый взгляд, эти слова удивляют. Тем более что сам Распутин нередко, так сказать, “бил в набат” – и “Пожар”, и “Прощание с Матерой”, и последний роман “Мать Ивана, дочь Ивана” есть вещи пророчески-громкие, полные боли, – от Распутина странно, казалось бы, слышать слова о “тишайшей” литературе.

Но в том-то и дело, что в мире, который то и дело впадает в истерики, бьется в конвульсиях с пеной у рта, верещит и кричит, сам не слыша себя, – в таком одержимом, болезненном мире, каков современный нам мир, – в нем только одно может нас исцелить, образумить: негромкий, спокойный, живой человеческий голос.

В этом смысле “тишайшая” литература нужна не одной лишь России – она нужна всему миру. Когда весь мир сходит с ума, когда он ослеплен блеском

глянцевых форм и мельканьем экранов, когда он оглушен какофонией звуков – должен быть кто-то, кто скажет ему: “Ну что ты шумишь? Посмотри на себя: ты совсем потерял человеческий облик...”

Так мудрый и опытный доктор заходит в палату к душевнобольным. Он знает: кричать бесполезно, безумцы его не услышат. Он может бороться с безумием лишь бесконечным терпением и добротой – и спокойной, негромкой, целебной речью. Не сразу, не с первой попытки – но люди, быть может, услышат его, и мутные взгляды безумцев тогда прояснятся.

“Тишайшая” литература необходима нам, как вода жаждущему и хлеб голодному. Нам нужен живой человеческий голос, говорящий о самом насущном. А самое важное и говорится без пафоса: оно не нуждается в нем. Признание в любви и прощание с усопшим, молитва и исповедь – то есть моменты, когда обнажается наша душа, когда мы наконец-то становимся сами собой – такие моменты чужаются громких, напыщенных слов.

И вот из писателей тихих, неярких, чей голос спокоен и мудр, чей взгляд всегда полон терпенья, добра, неизменного благоволения к миру – из таких вот целебных писателей едва ли не первым приходит на ум Соколов-Микитов.

II

Если биографию Пушкина или Толстого мы еще кое-как знаем – то жизнь “малых” классиков нам, как правило, незнакома. Что уж там говорить о читателях рядовых, если даже литературоведы, случилось, говорили мне: “Знаешь, а Соколов-Микитов нам почти неизвестен. Как-то он остается все время в тени, в стороне...”

Поэтому вкратце расскажем о жизни писателя. Родился Соколов-Микитов под Калугой, в местечке Осеки, в 1892 году. Рождению писателя предшествовало событие, описанное им в повести “Детство”. Мать писателя, происшедшая из зажиточной крестьянской семьи, была девушкой видной, красивой и работящей, и недостатка в женихах у нее не было. Сватался и купеческий сын из Калуги, и начальник железнодорожной станции – и, среди прочих, Сергей, управляющий лесными именьями богатых купцов Коншиних. “По обычаю, – пишет Соколов-Микитов, – мать поехала в ближайший монастырь, в Оптину пустынь, к знаменитому по тем временам старцу Амвросию. Опытный в житейских делах старец обстоятельно расспросил мать о ее трех женихах. Простой дал совет:

– Выбирай, Машенька, жениха, чтобы был не вертопрах. Благословлю тебя выходить за Сергея, за того лесовика. Не горюй, что годами постарше тебя; слюбитесь, обживетесь, будете счастливо жить...”

Оптинский старец не ошибся, предсказывая матери счастливую судьбу. До самой смерти ладно жили мать и отец, тень раздоров и пустых неполадок редко накрывала их семейный счастливый очаг”.

Выходит, что рождение Соколова-Микитова благословил сам Амвросий Оптинский: знаменитый русский святой как бы напутствовал в жизнь писателя, в чьем творчестве явственно будет потом ошутим православный целительный дух, дух живой, неподдельной любви ко всему Божьему миру.

Раннее детство писателя прошло на Смоленщине, навсегда связав его душу с этим лесисто-болотистым краем, с его “скромной и очень женственной природой”, как выражался позднее сам Соколов-Микитов. Связи с родной землей оказались прочны, неразрывны; вряд ли во всей богатейшей русской литературе мы найдем писателя столь же почвенного. Само упоминание имени “Соколов-Микитов” тут же магически вызывает пред внутренним взором пейзажи Смоленщины. Писатель стал как бы голосом этой земли, голосом столь же скромным, негромким, но полным терпения, стойкости, внутренней силы и доброты – как полны этим всем и природа, и люди Смоленской земли.

Десятилетний Ваня начинает учебу в Смоленске, в реальном училище. Но проучился он там лишь до пятого класса, откуда “был изгнан с волчьим билетом окончательно, по подозрению в принадлежности к ученическим революционным организациям”. Похоже, что никого из молодых людей той поры, обладавших живою душою и совестью, революционные настроения не мино-

вали; но, слава Богу, от “гибели, от обычной судьбы многих отчаявшихся молодых людей спасла меня, – говорит нам писатель, – природа...”

Совсем молодым Соколов-Микитов начинает скитаться по белому свету. Учится в Петербурге на Сельскохозяйственных курсах, работает в Ревеле секретарем местной газеты – и наконец, по протекции дьякона морской Николы Мокрого церкви, уходит в плавание на посыльном судне “Могучий”.

“Море покорило меня”, – пишет Соколов-Микитов. Он много лет служит матросом торгового флота, плавает по всему свету, заходит в турецкие, сирийские, греческие, африканские и европейские порты. Склонность русских скитаться и странствовать, их открытость иным, непохожим на нашу, культурам, их, по выражению Достоевского, “всечеловечность” – как нельзя ярче проявилась в судьбе Соколова-Микитова. “Сердце мое трепетало от полноты и радости ощущения земных просторов”, – вспоминает он, даже с каким-то несвойственным писателю пафосом, о поре своих юных матросских скитаний.

Сколько отваги и сколько доверия к миру должно быть в душе человека – чтобы сойти, например, с корабля близ Афона и, без копеечки в кармане, пуститься в скитания по Халкидонскому полуострову? Именно там, вблизи греческого Олимпа, и застаёт его Первая мировая война.

Вернувшись в Россию, писатель уходит на фронт добровольцем и летает на первом русском бомбардировщике “Илья Муромец”. Февральскую революцию встретил на фронте. Затем Петроград, куда он прибывает депутатом от фронтовых солдат, там первые литературные встречи, затем недолгая служба учителем в Дорогобуже, затем скитания по дымящейся от Гражданской войны России, и затем снова – море.

Судьба, кажется, нарочно посылает Соколову-Микитову одно испытание за другим, проверяя молодого матроса на прочность. Сначала он едва не умирает от дистрофии, а затем превращается в оборванца-бродягу. Пароход “Омск”, на котором служил Соколов-Микитов, в английском Гулле жульнически продают с аукциона, команду сгоняют на берег, и больше года писатель скитается по притонам и по ночлежкам доков “Вест-Индия” и “Ост-Индия”. Не погибнуть и сохранить себя, не озлобиться в мире портовых притонов смог бы, пожалуй, только кто-нибудь из героев Джека Лондона – да еще вот простой смоленский парень Иван Соколов-Микитов.

Только летом двадцать второго года, после мучительно долгой разлуки с родиной, он наконец добирается до любимой Смоленщины. И уж теперь-то на долгие годы оседает в деревне безвыездно, кормясь, в основном, охотой и занимаясь литературным трудом.

Родная земля и природа снова спасают писателя, сберегают его душу и жизнь. В годы, когда все ощутимей становится идеологический гнет, когда, чтоб не попасть в мясорубку репрессий, многие из писателей начинают “прогибаться” под власть и писать, что положено, а не то, чего хочет душа, – в эти годы писатель работает, не заботясь ни об известности, ни о гонорарах, а заботясь лишь только о том, чтобы голос его звучал искренне, просто и внятно. Он пишет только о том, что знает и любит: о своих деревенских соседях, об их радостях-бедах, о слепых лирниках (“Слепцы”) и конокрадах (“Цыган”), о нищих Киндее и Киндеевке, о чухнувшей девушке Марье (“Медовое сено”) и об охотниках на глухарей (“Глушаки”). Это вот именно что “тишайшая” литература: в ней нет ни шекспировски бурных страстей, ни социальных каких-нибудь обобщений, столь модных в ту пору, нет ярких сюжетов, нет формальных изысков, которыми тоже кто только тогда не грешил, – но в ней есть зато нечто более важное: есть душа и любовь.

Злодейка-судьба – эта “бешеная обезьяна”, как называл ее Пушкин, – судьба, на какое-то время оставившая Соколова-Микитова в покое, опять начинает “проказить”. Несчастья сыплются на писателя, как на библейского Иова: беды, одна страшнее другой, приходят в его семью. Как будто судьбе было мало того, что умирают две дочери Соколова-Микитова, две редких умницы и красавицы; третья дочь, едва успев родить сына Сашу, тонет в озере...

И, в довершение ко всему, Соколов-Микитов слепнет. А уж для него, для охотника, который всю жизнь, можно сказать, жил глазами – это было лишением более тяжким, чем оно было бы для любого из нас.

Судьба словно ставит беспощадный эксперимент, проверяя: сколько несчастий способна выдержать, не надломившись, душа человека? И о том, что Соколов-Микитов устоял, не сломался в жестоком сражении с судьбой,

говорит его поздняя проза. Она так покойно-светла, так добра, так полна благоволения и благодарности к Божьему миру, словно ее писал не старик, переживший так много несчастий, что их с избытком хватило бы на несколько жизней, — а писал человек, знать не знающий ни о горестях, ни о смертных потерях. Вот это и есть настоящий писательский и человеческий подвиг: переплавить несчастья — в особенный внутренний свет, в сокровенно-живое свечение текста...

III

Рассказав о жизни писателя, нельзя не сказать и о главном, что эту жизнь наполняло: о творчестве.

Читателю, вовсе не знакомому с книгами Соколова-Микитова, но обладающему литературным вкусом, достаточно прочитать всего несколько микитовских рассказов, чтобы понять: Соколов-Микитов — классик русской литературы.

В чем тут дело — и что дает писателю право именоваться классиком? Верность традиции? Да, несомненно: иногда кажется, что его тексты родились не в XX-м, а в XIX веке, под пером современника Тургенева или Аксакова. Или классиком делает тема — народ и народная жизнь? Это тоже, конечно, имеет значение: человек, оторвавшийся от корней и от почвы — безродный, как выражалась некогда, космополит, — может стать крупным писателем, может стяжать много лавров и премий — но стать классиком такому писателю не суждено.

Или “классичность” Соколова-Микитова — в его языке, предельно простом и в то же время безукоризненно точном, в сдержанно-неторопливой манере рассказа, в какой-то особой эпичности его задушевно-задумчивой прозы? В самом деле, язык писателя удивителен. Невозможно отделаться от ощущения, что, если бы природа — калужско-смоленские реки, поля и леса — могла говорить, то она заговорила бы именно языком Соколова-Микитова. В нем нет ни единого лишнего слова и звука, в нем все на месте, и все образует единый, утешающий душу, пейзаж — так же целительно действует созерцание, скажем, лесного ручья или — представим себе — стожка сена на пойменном низком лугу, под слоями густеющего тумана...

Вот, к примеру, начало рассказа “Глушаки” — а выбирать подобные отрывки можно подряд-наугад: такова почти вся микитовская проза.

“Весну объявили грачи.

Всю неделю, поблескивая на солнце вороним пером, вперевалку бродили они по утемневшим дорогам, белыми носами разбивали мерзлые колтухи. Когда по дороге проезжал, завалясь в возок, подгулявший мужик в армяке, они, подпустив близко и присевши на тонких ногах, лениво взлетали над лохматой спиной лошаденки и опять опускались на дорогу. Грачей встречали на полях галки, похожие на бедовых бабенок в серых платочках. Днем они гуляли с грачами, а вечером вместе садились на голые, звеневшие на весеннем ветру деревья.

На первой неделе поста негаданно воротилась зима: подул с холодного угла ветер, понесло пургой, неведомо куда пропали грачи, и опять по-вдовья ему кликали над белою колокольнею галки.

Вернулась весна в апреле — хмельная, в зипуне нараспашку, прошла по лугам, опростала из снегов кочки, отворила ручьи, синюю водой налила овражки.

В день прошел на реке лед, поломало на ручьях мосты, залило водой ветродуя Ваську, жившего на краю деревни у брода, — зашла вода в Васькину печку...”

Но, помимо редкостного по благородной своей простоте языка, помимо народности тем и сюжетов, помимо явных родственных связей с классической прозой Бунина или Тургенева, — Соколова-Микитова делает классиком еще одна важная вещь: его реализм.

Вот тоже термин, которому трудно дать определение (как и в случае с термином “классика”) — то есть трудно перечислить критерии, сверяясь с которыми, мы уверенно можем сказать: вот этот писатель реалист, а вон тот, например, модернист.

Скажем, Николай Васильевич Гоголь — реалист или нет? Вроде бы автор “Шинели”, из которой, как всем известно, “вышла” позднейшая русская

литература, литература критического реализма, не может не быть реалистом. Но как же тогда “Нос”, и “Вий”, и малороссийские повести, полные всяческой, то забавной, а то и пугающей чертовщины? Как же тогда потрясающий, опередивший на век свое время, авангардизм “Записок сумасшедшего” – из которых, как кажется, вышла и проза Франца Кафки, и абсурдный театр Самуэля Беккета, и кинематограф Бунюэля?

Так что, с одной стороны, “реализм” есть такой же условный и приблизительный термин, как и множество прочих условных терминов, которыми мы пытаемся классифицировать и размечать бесконечно живой, переменчивый литературный процесс; но, с другой стороны, если мы называем писателя реалистом, то имеем в виду нечто совершенно определенное, отличающее его от писателей иных направлений и толков.

Реалист – это тот, кто в своем творчестве движется к объективной реальности, кто открыт миру и людям, это тот, кто говорит миру “Да!”.

Но есть немало художников, уходящих от мира, тех, кто говорит ему “Нет!”. Причем отрицание мира может быть выражено разными способами. Это может быть злая критика или сатира – литература, где над писателем властвует демон насмешки, брезгливости, злобы. Вспомним Гейне, и желчь его строк – или, из нашей словесности, Эдуарда Багрицкого, с его пафосом ненависти и отрицания “старого” мира.

Разлучаться с реальностью можно, уходя в дебри языкотворчества, создавая язык, на котором никто, кроме шифровальщика-автора, говорить не способен. В эти дебри ушел наш безумный и гениальный бродяга Велимир Хлебников; в этих дебрях блуждал и пропал в них Джеймс Джойс, автор “Поминок по Финнегану”, книги, которую был способен понять один лишь ее создатель.

Можно вместо реальности жить в мире вымысла, грез. Характерно, что именно “фэнтези” становится модным течением там, где людям жить тошно иль скучно: например, в современном стареющем западном мире. Успех хроник Толкиена, видимо, и объясняется тем, что людям настолько уже опостылела и надоела реальность, что хочется вместо нее хоть немного пожить в мире гномов, драконов и фей. Это своего рода старческое “впадение в детство” – явление, которым должны заниматься уже не столько литературоведы, сколько психологи и социологи.

Так что уйти от реальности можно по-разному – для такого ухода врата, так сказать, широки, – но глубинным мотивом такого ухода будет всегда неприятие мира, несогласие жить в той реальности, какую нам с вами дал Бог. Сказать миру “Нет!” – неважно, как именно будет оформлен отказ – это и значит, по сути, душой отвернуться от Бога.

Поэтому быть модернистом или реалистом, говорить миру “Да!” или “Нет!” – это, в конце концов, проблема не личных пристрастий и вкусов: это проблема теодицеи. Писатели-реалисты движутся как бы навстречу Творцу, сотворившему нашу реальность, они живут с Богом в душе и творят вместе с Ним. И поэтому лишь реализм – это путь, который никто никогда не пройдет до конца: воистину, реализм бездонен и неисчерпаем.

Но пора возвратиться к тому, о ком мы ведем разговор. Вопрос о том, реалист Соколов-Микитов или нет, ставить даже смешно: его можно считать реалистом в квадрате. Как он сам признавался, его всегда удивляли писатели, способные что-либо выдумать, присочинить: сам Соколов-Микитов писал только о том, чему был свидетелем. Писателей, до такой степени “документальных”, мы найдем очень немного – вот уж к кому не пристанет старинное имя писателя: “сочинитель”.

С почти протокольною точностью Соколов-Микитов пишет жизнь русской деревни и русской природы – он не выдумал, кажется, ни единого слова иль звука, не взял ни единой детали, которой бы не было в окружающей жизни. Казалось бы, литература такой степени документальности должна быть скучна – и даже не вправе именоваться художественной. В самом деле: что за художество там, где мы видим один лишь фотографически-точный слепок с реальности?

Но тут нас, читателей, ждет нечто необъяснимое и совершенно чудесное. Неспешно, внимательно прочитав сборник прозы Соколова-Микитова, начинаешь вдруг чувствовать нечто сказочно-мифологическое и в героях его, и в самом строе речи, в том духе тайны и сказки, который живет на неспешно звучащих страницах. Вдруг понимаешь, что ты читал миф о России – то есть

то высшее и вдохновенное, что писатель способен создать. Соколов-Микитов – автор документального мифа о русской деревне и русской природе – хоть, понятное дело, логически трудно связать понятия столь разнородные. Мы привыкли считать, что миф живет сам по себе, а реальность – сама по себе; и что с повышением степени документальности прозы должна убывать степень ее, так сказать, мифологичности.

Но на самом-то деле все вовсе не так. Углубляясь в реальность, с отважным доверием двигаясь к миру и людям, писатель в какой-то неуловимый момент начинает вдруг чувствовать то, что стоит за реальностью, то, что питает ее и возводит ее достоверность до некоей высшей ступени – до истины и достоверности мифа.

Миф – это высшая правда о мире. И она, эта высшая правда, может порою не совпадать с тем, что мы видим в реальности, с тем, что мы бегло-поверхностно знаем о ней. Но если писатель – такой настоящий писатель, каков Соколов-Микитов, – доверяет и миру, и людям, и собственному языку, то его проза перерастает уровень бытовой, очерковой литературы и восходит уже к мифотворчеству, к выражению тех главных истин и смыслов, ради которых лишь только и стоит и жить, и писать.

Реальность сама так нуждается в вымысле, в мифе, в том высшем, что может внести в эту жизнь некий смысл – что, кажется, все моментально рассыплется в прах, стоит только отсечь от реальности – сказку.

И посмотрите, как та народная жизнь, о которой нам пишет Иван Соколов-Микитов, – как полна она тяги к чудесному, как томится она в ожидании и предчувствии мифа. Какой рассказ ни возьми, какой разговор мужиков ни прочти – почти всюду почувствуешь неутолимую тягу к иной, лучшей жизни, мечту об иной, просветленной реальности.

Вот, к примеру, “Камчатка”, рассказ о народных поисках обетованной земли, края с молочными реками и кисельными берегами. Прельщенные слухами о далекой чудесной земле, полсотни сиволапых смоленских мужиков собрались, бросив баб и детей, ехать на Камчатку. На железнодорожной станции их приняли поначалу за банду, окружили и заперли на ночь в сарай – но потом, разобравшись, в чем дело, посмеялись и отпустили. Но дело-то в том, что мечта не погасла, осталась с людьми – несмотря на все доводы разума.

“ – Ну что, – улыбаясь, говорю Ваське, – теперь веришь в Камчатку?”

– А кто ее знает, – отвечает серьезно Васька, – дело простое! Слышно – ни пахать, ни сеять. Счастливей край!

Васькин глаз весело крутится – может, от самогона, может, от приятных представлений. Я смотрю на огонь, на лес, на Заливая, и мне вдруг самому начинает казаться, что все возможно, что где-то есть, существует сказочная счастливая земля Камчатка”.

IV

Писателей, до такой степени почвенных, найти трудно. Без Смоленщины, без ее языка и природы Соколова-Микитова просто-напросто невозможно представить. Поэтому, говоря о писателе, нельзя не сказать о земле, что взрастила его.

Смоленск называют “ключ-городом”. Исторический смысл такого названия ясен. Всем нашествиям с Запада – а после татаро-монгольского ига только западные вторжения всерьез угрожали независимости России, – всем этим нашествиям, прежде чем они погружались в срединные русские земли, приходилось сначала сладить с ключом, запирающим путь на Москву. Столько осад и штурмов, сколько досталось Смоленску, не пережил ни один русский город. И войска Сигизмунда польского, и армии Наполеона, и гитлеровские колонны – все они запинаясь о “ключ-город”, вязли в смоленской земле. Это давало России время собраться, опомниться; можно сказать, что Россия всегда поднималась к отпору – под зарево полыхающего, жертвенно гибнущего Смоленска.

Сам герб Смоленска – птица Гамаюн*, сидящая на замке пушки, – отражает небывалую по трагизму и героизму судьбу древнейшего русского города.

* Гамаюн – птица, возрождающаяся из пепла, древнеславянский символ жертвенного бессмертия.

Так что Смоленск — это первая крепость России. Именно он вставал первым на западных рубежах, именно с этого города Россия и начиналась для Запада.

Но ведь смоленская крепость — еще и последняя крепость страны, да, наверное, и всего мира. Когда, в годуновские времена, гениальный Федор Конь руководил возведением красно-каменной крепости на Днепре, — в мире больше не строили крепостей. Пришли иные времена, иным стало оружие — против пушек не устоит никакая стена, — так что смоленская крепость обрела смысл скорее символический, нежели фортификационный.

Но нам сейчас это и дорого, нам важнее символика, а не конкретность — нам важен еще и иной, как бы свехисторический, смысл названия “город-ключ”. И жизнь, и судьба, и природа Смоленщины, нашего западного порубежья, таят в себе ключ к тайне целой России. Это неудивительно: на рубежах, в столкновении с иными мирами, суть народа всегда проявляется ярче, полней — так и русская суть проявляется глубже в Смоленске, чем, скажем, в Москве. Я и действительно много раз отмечал, что сознаю себя более русским в Смоленске, чем в пестро-безликой, ставшей совсем уже интернациональной столице.

Но в чем заключается эта русская суть — и почему ее проявление и сохранение сопряжено с таким множеством бед, испытаний, несчастий? Почему так трагична судьба и смолян, и Смоленщины — ради чего вся неяркая, тихая эта земля буквально пропитана кровью?

Одних только слов для ответа, конечно, не хватит: на такие вопросы отвечают всей жизнью, судьбой, и причем не судьбой одного человека, а жизнью народа. Но если все-таки попытаться ответить словами, то можно сказать: со Смоленщины, с первой по-настоящему русской земли (если двигаться с запада на восток) начинаются совершенно иной взгляд на вещи и иное, Западу непривычное и Запад пугающее, отношение к миру. При всех оговорках, мы все-таки можем сказать: для России важнее душа и духовное — нежели мир и мирское.

Исторически и географически эта граница между Востоком и Западом, проходящая как раз по Смоленщине, соответствует разделению между католичеством и православием. Что важнее всего для католика? Власть. Причем власть совершенно конкретная, грубо-мирская, опирающаяся на оружие или деньги, на золото или булат.

Католический монастырь — это замок, а католическая элита — это военный рыцарский орден. Конечно, с веками этот пассионарный католический императив — всегда, всюду, любыми средствами добиваться конкретной и осязаемой власти! — этот порыв ослабел, поугас. Но цепкая, въевшаяся в плоть и кровь ориентированность на мир и мирское осталась — потому-то Европа и вообще Запад так жизнеустроены, так благополучны в материальном, мирском отношении.

Главное же для православного человека — душа. Мирская власть и мирское преуспевание признаются за что-то побочное, порой даже постыдное — недаром характернейшей русской легендой (такой православной по духу!) стала легенда об императоре, превратившемся в старца Федора Кузьмича.

Именно этой изначально иной, нежели западная, ориентированностью русского человека, возможно, и объясняется вековая, глубинная неприязнь, недоверие Запада — к той стране, что лежит на Востоке, начинаясь с лесов и болот Смоленщины. Да, Запад не любит нас: потому что мы, самим фактом нашего “неправильного”, с точки зрения Запада, существования, напоминаем ему о его собственном метафизическом выборе, о когда-то давно совершенном предательстве духа — в пользу брэнного тела. Мы — живая память о “грехопадении” западного христианства, и поэтому видеть нас для Европы мучительно-невыносимо. Возможно, католики в глубине души чувствуют: истина все-таки за православием; парадоксальным признанием этого и является та вековая, подсознательно-генная неприязнь, даже ненависть — которую Запад питает к России.

И Запад не будет спокоен, при всех своих политических или экономических достижениях, пока на востоке лежит непонятная — и в глубине души презирающая эти все достижения — страна. Мы помиримся с Западом только тогда, когда перестанем быть сами собой, когда окончательно тоже падем в суету и тщету мирского благоустройства. Пока же мы с вами еще остаемся

иными – Запад будет с опаской и недоверием видеть стоящие над Днепром красно-кирпичные башни Смоленска.

V

Мысль об особой, трагически-избранной роли Смоленщины в судьбе целой России подтверждает еще и такое явление, как смоленская литература.

В России наряду с двумя политическими и литературными столицами – Москвой и Санкт-Петербургом – существуют еще и провинциальные литературные “столицы”. Такова, скажем, Вологда, с целым созвездием ярких писателей, творивших на Вологодчине и просиявших на всю Россию: вспомним Рубцова, Астафьева, Белова. Таков был, в XIX веке, Орел: Тургенев и Бунин, Лесков и Фет создали Орлу славу самого литературного русского города.

В ряду провинциальных литературных “столиц” стоит и Смоленск, занимающая и здесь совершенно особое место. Стоит лишь вспомнить писателей, связанных со Смоленщиной – или родившихся здесь, или живших здесь долго и написавших именно здесь свои лучшие произведения, – как станет ясно, что эта земля породила великую литературу. В каком-то смысле мы даже можем сказать: в XX веке голос смоленской земли, так ярко звучавший в поэзии, прозе Смоленщины, был голосом всей России.

Разве может быть песня народнее песни “Враги сожгли родную хату”? Вот уж действительно: и судьба, и трагедия целой России звучат в ее строках. Даже не верится, что написал ее – выдохнул из души! – не весь русский народ целиком, а отдельный, представляющий этот народ, человек: смоленский поэт Михаил Исаковский. Написав одно это стихотворение, уже можно считать его народным поэтом; а ведь перу Исаковского принадлежат еще песни “В лесу прифронтовом”, “Летят перелетные птицы”, “Одинокая гармонь” – то есть самые задушевные песни России.

Великая русская книга XX века – “Василий Теркин” – порождена тоже смоленской землей. И вряд ли случайно, что главный ее герой, собравший, как в фокусе, русскую суть, – солдат Василий Теркин, “святой и грешный русский чудо-человек” – родом именно со Смоленщины, с многострадальной рубежной земли. Сама Россия заговорила вдруг на страницах поэмы Твардовского – но заговорила на неуловимо-смоленский манер, со смоленскими прибаутками-шутками, с той певучестью старых смоленских пастушьих рожков, которые с раннего детства так памятливы были автору. И восторг, охвативший старого, желчного Бунина, когда прочитал он “Василия Теркина”, – был не просто восторгом от встречи с удачным литературным произведением; нет, Бунин был восхищен и растроган иным: тем, что Россия живет, побеждает, творит, несмотря ни на что, – и ее несмолкающий голос так полно и сильно звучит на страницах поэмы.

Твардовский, великий поэт всей России – всегда оставался смоленским поэтом, всегда сохранял неразрывную связь с этой скудно-неяркой землей, причем даже не со Смоленщиной вообще, а со своим родным Загорьем, со станцией Починок, на стене которой мы сейчас можем прочесть выбитые в граните строки:

*А еще доволен я,
Хоть смешна причина –
Что на свете есть моя
Станция Починок...*

Со Смоленщиной связан и Михаил Пришвин, удивительная в русской литературе фигура. Писатель, на долгие годы задвинутый в тень, числившийся по ведомству “писателей о природе”, – создавал и могучие социально-драматические полотна. И как раз с его жизнью на Смоленщине, в Дорогобуже, у истоков великой славянской реки, и совпало создание “Мирской чаши”, едва ли не лучшей повести Пришвина. Удивителен жанр этой повести – “документальный миф”* – и удивительно, как, при всем очевидном трагизме

* Наблюдение В. В. Кожина: см. “Мирская чаша” Пришвина – повесть о революции, и не только”.

повествования о революции и о гибели русской земли – книга дышит надеждой и светом. Вот уж где впору вспомнить о мифической птице Гамаюн, возрождающейся из пепла, – вспомнить о том, какой древний символ начертан на смоленском гербе.

И, наконец, Соколов-Микитов. Пожалуй, если какому-нибудь иностранцу, совсем не знающему о существовании России, понадобилось бы показать, как звучит русская речь, и что такое русская классическая проза, – мы не нашли бы ничего лучшего, чем прочесть ему какой-нибудь из микитовских рассказов. Проза гениев – Гоголя, Достоевского, даже Толстого – для этой цели, как это ни странно, подошла бы нам меньше. Любая страница великих, всемирно известных писателей слишком уж самобытна, слишком уж отражает и душу, и личный взгляд самого гения. Согласитесь, что, прочитав две-три страницы Достоевского или Гоголя, трудно составить себе представление о русском языке как таковом, не преломленном, так сказать, в системе линз или призм гениальной, особенной личности. Так, и таким языком, как Гоголь или Достоевский, обыкновенные русские люди не говорят. А вот языком Соколова-Микитова говорит – или, точнее сказать, говорил век назад – русский народ.

Соколов-Микитов и сам, при всей своей необыкновенной, так редко встречающейся у писателей, скромности, чувствовал эту особенность своего творчества, создавал, что он, живущий в смоленской глубинке, представляет весь русский народ. Вот его собственные слова: "...Россия была для меня тем самым миром, в котором я жил, двигался, которым дышал. Я не замечал этой среды, России, как рыба не замечает воды, в которой живет; я сам был Россия, человеком с печальной, нерадостной судьбою..."

VI

Развивая и продолжая эту важную мысль, мы выходим еще к одной теме: великая "малая" русская литература.

Сразу нужны пояснения и оговорки. Разумеется, слово "малая" мы должны брать в кавычки и должны понимать, что только такая богатейшая литература, как русская, позволяет нам применять – без обиды для русских писателей – этот эпитет. Действительно: такие писатели, как Гончаров или Розанов, Клюев или Шмелев, составили бы честь литературе любой европейской страны и явились бы в ней предметом всеобщей гордости и поклонения.

Мы же, русские, можем позволить себе как бы некую сортировку. В самом деле: рядом с талантами нечеловеческой мощи – такими, как Гоголь, Толстой, Достоевский, – многие, даже самые замечательные, писатели остаются в тени. Томас Манн, всемирно известный писатель и Нобелевский лауреат, написал как-то в частном письме: "Сейчас я как раз перечитывал "Хаджи Мурата"... Да, Бог ты мой, я же просто щенок перед т а к и м львом. Каких бы еще мировых премий ни присуждали мне всякие академии, я-то знаю, что велико и что в лучшем случае средне. Лучше нам всем притаиться и смотреть с н и з у в в е р х!"

Но у "малой" – условимся называть ее так – классической русской литературы есть важнейшее свойство: она глубоко национальна. Национальна даже не столько по выбору тем или по языку, а национальна по духу, по взгляду на мир – по ментальности, как это модно сейчас говорить.

Наши великие гении – исключая, конечно же, Пушкина, даже здесь не похожего ни на кого, – вносят в творчество очень много себя, своего и тем самым они искажают – как бы это точнее сказать? – чистоту представительской миссии, говорят языком ну уж слишком своим, выражают даже не то, как на мир смотрит народ, из которого вышли эти великие, а выражают свой собственный взгляд и свою, самобытно творящую душу. Поэтому можно сказать, что великие гении – Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой, – гении даже не столько национальные, сколько всемирные, всечеловеческие. Они слишком "выходят из ряда вон", чтобы целиком оставаться в рамках национальной культуры и быть ее скромно-неяркими представителями.

Но у нас еще есть и другая литература, которую мы, увы, знаем меньше, чем творчество наших великих, "всечеловеческих" гениев. А ведь именно эта "малая" русская классика доносит до нас бесконечно богатый, живой и есте-

ственный голос России. Можно сказать, что народ – то есть, конечно, то лучшее и самобытное, что было когда-то в народе и в малой лишь степени сохранилось доселе – говорит именно языком Аксакова и Лескова, Шмелева и Шергина, Пришвина и Соколова-Микитова.

И поэтому “малая” русская классика, исполняя высокую миссию представительства за народ, миссию сохранения и развития русского языка, сохранения – скажем даже и так – самой русской души, – наша “малая” классика становится больше себя же самой и, в своей совокупности, видится нам, как великая, грандиозная по задачам и замыслу литература.

Проясним эту мысль на конкретном примере. Сопоставим два имени, между которыми и помещается, можно сказать, та “тишайшая” русская литература, о которой идет разговор. Это Аксаков – и Соколов-Микитов.

С одной стороны, писателей разделяет и время – как раз век лежит между ними – и даже пространство. Один жил в Оренбуржье, на азиатском востоке России, в ковыльных степях – а другой на Смоленщине, нашем западном порубежье, и писал о лесах и болотах, о горях и гатях, о крае дремучем и так непохожем на вольные юго-восточные степи.

Но, с другой стороны, поразительно сходятся судьбы писателей. Оба страстные, до самозабвения, охотники, перенявшие эту страсть от отцов – оба прожили жизнь, ощущая мистически-кровные, первобытные связи с природой. Оба именно об охоте и о природе написали лучшие, вдохновеннейшие страницы. Оба к старости стали слепыми – как жестоко судьба посмеялась над теми, кто жил, с такой радостью глядя на мир! – но, даже во тьме своих старческих лет, оба остались добрейшими, благоволящими к жизни людьми. Оба писателя в старости уже не писали, а диктовали – и как раз в старости надиктовали свои самые теплые и задушевные тексты.

Оба они, Соколов-Микитов и Аксаков, – создатели камерных эпосов, воспоминаний о собственном детстве и собственных семьях. Но это именно эпосы: на каждой странице и в каждой строке мы с вами чувствуем тягу неспешно-былинного повествования.

Оба писали документальные очерки быта, семейные хроники без малейшего вымысла или преувеличения – так, что такую литературу, рассуждая формально, даже трудно причислить к художественной, придуманной сочинителями, литературе. Но по прочтении их удивительных, неторопливо рассказанных хроник создается твердое впечатление, что ты читал сказку, миф – что такой вот неспешной, глубокой, богатой деталями, вдумчивой жизни уже не бывает на нашей истерзанной и засоренной земле. Мы, живущие в суетных судорогах современности, читаем как будто отчеты о жизни в раю – миф о том, как жилось людям когда-то, еще до грехопадения. Конечно, и сами писатели вспоминали о собственном детстве, как об утерянном рае, – который, однако, мы чаем опять обрести и поэтому всеми силами памяти, сердца, души так стараемся воскресить удивительный мир, с которым настойчиво-злая судьба упорно пытается нас разлучить.

А может ли быть задача писателя выше, чем сотворение мифа – то есть такого свидетельства о бытии, в котором, при сохранении черт и деталей реальности, мы все же чувствуем как бы дыхание иных, просветленных миров? Миф всегда – это некая память о прошлом, о райски-безгрешном существовании человека; но миф, в то же самое время, еще и призыв, увлекающий нас к бесконечно далекой, но все-таки чаемой цели.

Наша великая “малая” литература как раз выполняет, в лице своих многих творцов, грандиозную эту задачу – создание мифа о жизни, о нас, о России. И, когда размышляешь о русской литературе, то всегда чувствуешь: наши “малые” классики – такие, как, скажем, Аксаков или Соколов-Микитов, – превосходят самих же себя, становятся как-то весомей и значимей собственных произведений.

За таким парадоксом читательского восприятия кроется нечто существенно-важное, то, что подводит нас к сути вещей. Вот, скажем, Набоков: бесспорно, высокого ранга писатель. Но он всегда кажется мне – не подбегу других слов – как-то меньше себя самого. А Соколов-Микитов, который, казалось бы, проигрывает тому же Набокову по всем статьям – и по виртуозности языка, и по образности, и по блеску ума, и по лихости хитро-сюжетных сплетений, – Соколов-Микитов странным образом самого же себя превосходит.

VII

Россия и ее “малая” классика неразделимы – и не выживают одна без другой.

Наши гении “первой величины” принадлежат уже не только России, а целому миру; и если бы даже представить, что Россия исчезла бы вдруг с лица нашей планеты – Толстой, Достоевский и Чехов остались бы жить в мировой культуре.

Но вот наша “малая” классика жить без России не может. Исчезни вдруг мы, растворись или выродишься среди прочих, напористо-наглых и плодовитых, народов – кому тогда будут нужны Аксаков и Пришвин, Шмелев, Соколов-Микитов?

Но всякая связь и зависимость обоюдны. Исчезни из русской культуры ее “малая” литературная классика, стихни вдруг ее голос – не будет России. Потому что мы вдруг потеряем не только язык, несравненно богатый, живой, выделяющий нас из всех прочих племен и народов, – но мы потеряем саму русскую душу. Мы не будем знать, кто мы такие, откуда мы и куда мы идем: ибо именно “малая” классика и дает нам понятие о самих же себе.

Так что спасение и сохранение, изучение и пропаганда наследия наших “тишайших” писателей, тех, кто не очень-то могут сами представить себя и за себя же самих постоять – такова их застенчиво-скромная суть и природа, – становится не просто краеведческой или узко литературной задачей. Изучение и сохранение нашей “малой” классики – есть, безо всякого преувеличения, дело общенационального спасения. Не хотелось бы впадать в пафос, столь чуждый писателям, о которых идет разговор, – но ведь дело, по сути, так именно и обстоит. Наша классика – наша последняя крепость, она тот рубеж, отступивши с которого мы уже не вернемся к самим же себе.

Но она, наша классика – и великая наша надежда. Народ, из которого вышли всемирные гении, те, пред которыми, так сказать, преклоняет главу благодарное человечество, – конечно, великий народ. Но народ, имеющий, кроме того, еще и великую “малую” литературу, – такой народ унаследовал баснословное, им самим пока не вполне осознанное, богатство. Мы с вами несокрушимы, мы бесконечно сильны – пока с нами и в нас звучит голос русской литературы, пока наша “малая” классика не позабыта и не утеряна нами.